



МИР ПИСАТЕЛЯ

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
 НАШ САЙТ: denlit.ru
 ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

(начало на стр.1)

Отзовись! Есть кто дозорный по Забайкалью?! Есть кому укрыть оберегом тёплого слова степь, дрожащую от стужи, озёра с тихим зелёным льдом и сонными чебачками? Не молчи, а то не заснушь на Енисее, так забласт постылый Миша в Тарбагатае (даром что тёзка, от язви его!) – что рвётся душа за недогретую и неопетую забайкальскую землю! Отзовись смелый человек с болеющей и чуткой душой!

Слышу сквозь ночь, сквозь свист ветра, сквозь хлест снега о “салафановое” окно зимовья: “– Не волнуйся Анисей-Батюшко! Не бойся, брат Михайло! Есть кому отстоять Забайкалье, обогреть степную ель припорошенную твердь, спасти чудо озёр от лютого прокопелания! Убереечь русскую душу от вражьи осады. Сохранить заповедный русский язык, его дальний сквоззвеквой строй, сказовый дых”.

Анатолий Байбородин... Вот ведь к каким ухищрениям пришлось прибегнуть, чтобы утаить его, давно известного, замаскировать до поры и открыть в долгожданную и тёплую минуту! Все громче его далёкий голос, и уже крепко на душе, ближе Забайкалье и сильно на сердце, которое знает, что не урвётся от расстояний... И тем веселее загудит топор и пешня в руках, чем твёрже приляжется к ним книга “Озёрное чудо”.

Открывает книгу особенно дорогая не только читателю, но и самому автору повесть “Утоли мои печали”. Она, как и многие произведения Байбородина, строится на личном, на истории детства, которое сколь и единственно, столь и бесконечно и, расплетаясь на хилы, подробно и многосторонне прорастает через всю толщу творчества. Истинный писатель всегда пишет одну книгу, одну судьбу, как бы не рядил её для отвода глаз одежи разных сюжетов, различных героев. И всегда корень, ключ – чуткий человек с огромным, разверстым и потому навеки раненым сердцем. И оная, родник боли в детстве, голодомод от душевного тепла не менее чем до хлебной корки, трудном, трудовом, но чистым духом. “Керосинка с протертой до незримости стёколкой” – образ точнейший, и очень хорошо отражающий суть того, о чём пишет писатель. Да и вообще сибирской жизни, в которой богоданная и быющая в очи красота природы вопиюще заклопачена несовершенством человеческого существования. И противоречье это падуном-водопадом режет израненную душу мальчонки с такой знакомой силой, что уже переключается с житием маленького Витки из книги Астафьева “Последний поклон”, и с той же, знаковой для русской литературы исповедальностью, горечью, благодарностью освещает пронзительный финал этого открытия.

В повести “Утоли мои печали” Байбородин не снисходит до времени и его явных примет, услужливых и навязчивых, как у верхоплавных литераторов, заострённых на заигрыш с читателем. Нет... Конечно, веши стоят на этой продутой поэзмами степной дороге, но только самые важные, без которых не понять героев. Которые как обвал, разлом... Как те “кравовые антихристовые времена”, свалившиеся на “русские головы”, когда “фармазоны порушили волостной храм, а заодно и сельские церквушки”. Но главное дальше – главное в том, что мать вопреки всему сохранила: “ночные и зоревые молитвы да образы от тятеньки и мамочки” и самую заветную “в позеленевшем медном окладе” – икону Божьей Матери “Утоли мои печали”.

И всё как всегда на Руси: конь, земля, отец, мать, молитва, земля... Монолитное русское время, сплётённое из накрепко сплавленных проводов... Вот отец фронтовик, едва не утонув во вздувшейся от дождей реке и отмеча

возвращение домой из затянувшегося похода в село, открывает гуд с непотребным сродником Гошкой и заводит боевую песню, под “мясное хлебовое”, дымящееся на костре... А мать, продавшая, казалось, вечность, только задумчиво произносит: “Вот и прошло Вербное Воскресение”... Две жизни, две дороги... Так текут в сизом небе прозрачные облачные гряды, проходя друг в друга, скользя бок о бок, не разделяясь и не сливаясь воедино.

Повесть написана как житие, как попытка осознания судьбы главного героя Ивана, простёртой на три поколения. И требующая выявления главных смыслов, путеводных створов, ведущих героя... В повести несколько главных ге

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Озёрное чудо

О прозе Анатолия Байбородина

роев, они, как созвездия, как духовные сущности, проходя через которые с великими потерями, Иван напивается невыносимой тягой понять: а зачем в этой выжой жизни угрожает его Господь Бог такой неподъёмной поклажей. Вот они все: мать, брат Илья, отец, дочка, и сам герой, который в последней части повествования крепче берёт поводья и правит сам в себя, в свою память и, уже не различая границ между близкими, насыщаясь их смыслами, становится чрез это человеком.

Мать, самая пресветлая, пресвятая ипостась, самая сокровенная составляющая духовного мира Ивана. Плоть от плоти русская женщина – страдальца и хранительница. Её и обсуждать-то грешно, нееловко. Только в ноженки поклониться!.

Старший брат Илья. Пахарь, заглушиль, песельник... Живое без прикрас человеческое существо. “Уродливый характером широким, как Сибирь”, сильный и бедовый, не умеющий жалеть себя и живущий безо всякого расчёта, оглядки. И как многие сибиряки подвластный тяге простора, дороги, той самой магии пространства, чуждался одной стороны, которая и вовлекала русских первопроходцев в годы походов. “Гонял скот то в Читу за триста вёрст, то из Монголии, так что Фая вдовела при живом муже”. И требующий от жены такой же душевной шири... И не пожелавший перебраться в город, куда жена стремится в поисках комфорта и “порядка”. И потерявший жену, а потом и пожелавший, и запоздало согласный, что надо было держать удале, не давать размаху, шату, потому что так всё и разлетится-развеется бравои песней по степи... И будешь потом с покаянной виной и тщетным поклоном жалеть: “Не зла желала, к порядку приваживала”....

И вроде сошёл после с другой женщиной, да так... уже без особой надежды на крепкое и дружное житьё... А душа требует шири, объёму, и неспроста песня так много значит для Ильи, ведь сердце, чуткое к песне, и о земле ведает главное. И ведение это так обнажает душу, так отнимает у материального, что навсегда лишает чувства опасности, пощадя к себе, и эта рвущаясь вонне душа в какой-то момент не в силах уберечь защитную свою кожурку... Таким и полётный, и провальный, и труднее всех. Вспомним певца из Турочака Василия Вялкова, погибшего в вертолётной аварии. А Илью сбросил необъезженный конь...

Рассказ о брате вроде бы вступительный, и думаешь, что Илья просто первый из череды героев, а потом оказывается, что его история и есть одна из главных: потеря Ваней старшего брата. Илья был мальчужо ближе близнеца: родители жили на отшибе, отец служил лесником на удинском кордоне. И их с сестрёнкой отдали в семью Ильи, в село, где школа.

Отец такой же и трудовой, и трудный. То упрямый, то чётёрстый, то загубный. Неизбывный узел боли для матери. И маленький Ваня как на юру меж ними. У матери забота ближняя: от

надсады, простуды защитить, накормить-обогреть, от стыда жизненной оберечь. А у бати – втянуть в мужицкое, трудовое, помошничкое... И мальчонка в вечном разлёте меж матерью и отцом. А так охота с батеи за жердями для заплата поехать. А мама не пускает... А тут как раз сретенская оттепель долгожданная, первая, та, что то после морозов, как велия милость.

“Среди череды морозных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, то-скливым рядном мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малую

Как знакома это брюхотастость туч, похожих на косяк рыхлых кажих-то рыбин! И то, что в оттепель разморозиваются запахи, будто колясь, что обрушившись на чуткую душу.

Мать сдаётся, и мальчишка отправляется. В пимах, напеленных на валенки, – можно представить насколько ему неуклюже! (Пимами в Восточной Сибири называли камусную обувь, навроде сапожек с матерчатыми голяшками. По сути это обрзанные бокаря или торбоса. Их не надо путать с валенками-пимами, описанными Шукшиным, там другая история.)

Грясётся лошаде́нка, свистит ветерок в срубе, свистит полоз по насту... Тальный снег уже подстыл на ветру – зима-то не отпускает... И вот, то степь, то окошечки леса... Безрызничок, “там и сям желтеющей соснами, и копошечко чернеющей кражистыми лиственницами”... “Копотно” – очень по-байбородински сказано, да и листьяги у него всегда чёрные, контрастные, силузные, подчеркивающие голыми ветвями предвечный небесный свет...

И ещё герои Байбородина поют. Поют песни, которые надо знать и любить. Тогда они сработают на обуюдную работу писателя и читателя. Тут как на неводе: писатель замётывает, а читатель до поры на берегу стоит с бережником, а как тот замечается, ткнулся в берег, – тактирует уже вдвоём надо... Русская проза тем сильна, что требует участия, читательской подмоги, совместного создания, которое и тяжело поначалу, но зато так тебя переделает, что к концу в ноги поклониться за трудовое это перерождение. Это та же стройка. Тот же сруб. Художник “в однодню”, без подмоги и не закатыть бревно на самую высь – только вдвоём. Потому и славно, когда читатель участвует встречно, как и сейчас, и с той же любовью, что и автор, пропевает частушки, протягивает, прошептывает, прогоняет через себя жилы песен, как нити санного следа, как струи поэмки... А без читательского участия они так и останутся отпечатанными куплетами.

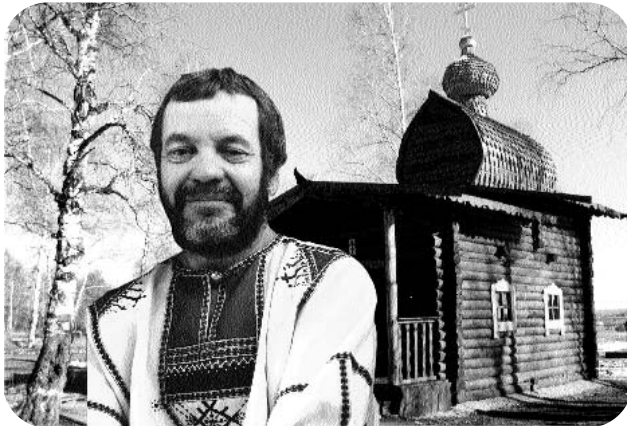
Песня – она как живая вода, все закорузные части жизни омывает и воедино собирает... Или сказать наоборот: как связывающее раствор вещество, как гранитный отсев – самый лучший для связи бетона. А стройка не кончается... И дорога тоже. Если она к свету...

“Многое пережил Иван. Глядел, сдерживая ком, на мать, доживающую последние дни у сестры, вернувшись в село детства, стоял напротив своего дома, давно заселённого другими людьми... И вот уже и нет родителей, и дочка подросла, и общаясь с ней, приближаясь к ней и открывая её взросло

ющую душу, он вдруг начинает переживать, что в детстве не было у него близости с отцом... И как задует в степи ветер, как завязывается у горизонта млечный морочок поэмки, так и начинает прокладываться в душе сквозная родовая дорога, полная горечи, вопросов, надежды.

И его собственная душа всё сильнее кажется ему слабой, чересчур отворенной для чужих воль, заезжим двором, куда заходят-заглядывают разные люди, и где добро силится одолеть зло, да силенок не достаёт. И хотя в этой гостевой избе чужая душа не находит себе “улёжистого места”, но зато какое “крылистое чувство лёгкости” он испытывает, примерив это чужое, привнесённое,

то, за что можно не отвечать. А дальше встаёт вопрос, а какая она вообще, его душа, какой была изначально, и какой стала, чем заполнилась... И кажется Ивану, что больше в ней всё-таки жалостливого, материнского, смёрного, чем



жёсткого, силового, нравного отца. “Когда была уже докурена и погашена папироска, когда страдальчески осветленный взглядом уже неведаящее смотрел сквозь клубящийся сырой морок, Иван вдруг, поразившись, испугавшись, ощутил себя своим отцом”.

А потом, оставив Ивана отходить от потрясения, автор медленно переводит камеру на новый ракурс, приближая к предфиналу, в котором “плетутся на сморенной кобылёнке сквозь снежный буран два одиночки человека, отец и сын, а степная метель, охлёстывая ковыль на буграках и кочках, протяжная с подостивом и подвывом поёт”.

И снова выплывают из снежного мороза отношения с дочерью Оксаной, которая то раздаст добро, то щеничку бездомного в избу пустит... И с другого ракурса сквозистой души обиды на отца восстаёт... Почему “пил, да нас гонял”? И почему не разговаривал со мной так, как я сейчас говорю с дочей? И сам себе тут же отвечает Иван: да ведь нет, был отец и другим, и крепким, и хозяйственным... Нас же поднял ведь... Да и вообще, может дело не в отце, и не в дочери? А во мне самом?

Так копают и копают герой своё прошлое, свою душу и штык за штыком уходит всё глубже и глубже в проколовшую твердь вековых вопросов, где сквозь всю их неподъёмность сверкнёт вдруг самородная надежда, что мамина душа всё-таки победит... осилит, одолеет заклопчённое стекло, потрёт до кристальной чистоты уже близкое к итогу жизненное небо... Расчистит дорогу свету, что светя не тлетливо и предвечно с ненаглядного сибирского небосклона...

Этот Христовый свет и освещает финал, пронзительный и абсолютно сический. Вот он “опять высветлил степную околицу, извилистый санный путь, через который струлилась и струлилась вечная поэмка, завоораживающая глаза, как речная течь”. И вот – и русская дорога, и родовая повязь, трактовая связка: отец-сын-дочь, и песня ямщика... И близкие переживаются настолько

нераздельно, что уже не различить, где ушедший брат, где отец, а где дочь, “не отводящая глаз от шуршащей и вечно текущей поэмки”... А степь не кончается, загигает плавно к небу, и чернеют на едва приметном изгубе меркнувшие силуэты ездоков... Вот в общем-то и всё.

Остаётся только назвать песню. “Степь да степь кругом”.

Как вообще сейчас пишет народ? Вроде, в среднем неплохо, много хватчи авторов. Хотя общий уровень, как замечает в интервью Анатолий Байбородин, – журналистский, очень много похожих по интонации, по манере книг. Оно так и есть. Основная часть современной литературы обезличена журналистским говорком-наречием, будто узаконенным и делающим авторов похожими друг на друга...

Забывает русский язык, не только во всем многообразии цвета, звука, сравнений и эпитетов, суффиксов, приставок и прочих возможностей... Забыт и всячески вытраивается язык, как носитель национального, когда каждое слово, подобно сакральным буквам древнерусской азбуки, хранит мир, настолько дорогие русскому сердцу, что многие книги и не возьмешь за один присест – слишком силен взвар смыслов... Такова проза Лескова, Шмелёва, Платонова, такова поэзия Клюева.

Я спросил Анатолия Григорьевича, как он относится к поэзии Николая Клюева. Вот что он ответил: “Клюев в слове слил воедино древнерусское языческое слово, северное сказовое, былинное и церковнославянское, слив в образах и эти миры; и по мудрости горней, по русскому образному слову превзошел всех поэтов, допрежь прославленных, и при жизни его, и по нынешнее время, да и грядущему не осилит. Он – воистину гений; но он уже закодированный, он как исследователь русского мира; а Есенин, скажем, превзошел его по ясной, истовой любви к Руси, к русскому простолудию. Я, кстати, писал тебе раньше: Астафьев далеко обошел Шукшина по слову, но до его совести, до его сострадательной и восхитительной любви к русскому народу не взмошёл. Лишь Шукшина, в некой мере и Белова, можно повелить совестью народной. Так я думаю”.

Подобную заповедную территорию и созидает православный писатель Анатолий Байбородин, сливая в своей прозе все ипостаси Русского мира. Созидает вопреки всему и уже не обращая внимания на упреки в “орнаментализме” и прочих “великих преступлениях”. Безусловно проза Байбородина и трудная своей завершенностью, той самой закодированностью, – не зря автор всю жизнь дорабатывает свои книги. А как по-другому, если оставалась завещание, свой образ того, каким должен быть русский мир в прозе? И каково создавать этот мир, не отступая, выдерживая по всем осям, вертикалями и горизонтам, включая все соединения, пазы и шипы огромного этого дома? Ведь что есть изба без порога, матицы, печки? Что-то одно убери – и всё рухнет... или просто не перемизмуешь.

Языковое богатство Сибир Байбородин не только сохранил, но и приумножил, вплета в полотно повествований язык пословиц и побасок, сказок и сказов.

Он и само словопроизводство обнови, прочистил от наносника заброшенные покосы, омолодил словострой, пройдя по старцам, взявшимися яской и не соединивших протоками-высками с основным руслом, уже сильно поуродованным и замусорённым. Так, соединяя

воедино протоки и идя единым плаком, работает большая вода, неся ярко-белые лебедя-льдины, мокрые искрящие на солнце выворотины, промывые до блеска морёные корни... Действительно важно вернуть корневой основе слова полное сияние... Ведь иной раз смотришь, а осталось-то где по два-три лучика, где по одному... А где и вовсе померкло слово, угасло, как сосновый ствол на закате.

“Как-то он умеет выстроить текст так, что у него каждое предложение заключено само в себе и словно бы одето в скорлупку, это, может быть, похоже на кедровый орешек” – пишет о Байбородине Татьяна Соколова скорее с упреком, чем в похвалу, несмотря на сравнение с кедровым орешком.

Байбородин пишет, как считает нужным, а не “как выходит”. Законченность и густота его глубоко осознанная. Как может понять читатель из его статей и интервью, он мастер, а значит, может работать по-разному, может даже “если ч” завернуть и диалог на британском (рассказ “Дворник”). Манера выбрана сознательно, выстрадана, и следует не её обсуждать, а думать о том, почему он избрал именно такой путь. И что защищает и оберегает он своими книгами.

Очень важна древняя, идущая от язычества народная привычка одухотворять природу, древнерусский и бурятский замес этого одухотворения, который в жизни вовсе и не вступает в рознь с православным... Это одухотворение слито с сыновним доверием к великому распорядку, с ежечасным послушанием, когда от человека не требуется ничего нового – только быть достойным этого Божьего мироустройства и своей, завещанной предками земли. И когда Димитрий-рекостав сквёт озеро, чудо рекостава особенно потрясёт незаключённые детские души – будь-то волшебство скользящее по льду на коньках или сама таинственная жизнь озера (рассказ “Озёрное чудо”)...

Тончайшее и глубинное в рассказе “Озёрное чудо” открывает писатель свой дар “пронзительно переживать времена года”. Особенно осень, когда душа “сквозна и проглядна и готова кажется повянуть к небу”, и долгая зима, когда “озеро родничком” выставляется, так же как и души зимующих со всеми своими бедами и потерями... И недолюбленные детские души, и взор ребёнка сквозь лёд, в бесконечную немзную глубину, где он заворожено пытается найти нездешний покой, чарующую печаль, силится izbьёт его горечь детского своего бытия, уйти от родимого дома, хмельного и безрадостного... И “жгучие дымные холода”, и ожидание весны, и озеро как центр непреходящего чуда, пульсация непостижимого, как подтверждение Божьего существования и надежды на спасение.

На то оно и слово. На то и душа читательская, чтобы каждый раз по-своему – пусть и в свободе невведения открыть-представить себе суровую и далёкую эту жизнь, сделать её на несколько сотен страниц ближе. Вижу – тысячу читателей, и тысячу таких представлений, и тысячу Озёр... Будет у каждого своё озеро, и свой отвоетанный у суеты покой, в котором выстоится душа в размышлении о сокровенном. И читатель, проколов и угрившись, пережив Озёрное чудо, найдёт и в себе древнюю тягу к строгости и сам построит за эту ночь преобращения... И почувствует подлёдную глубину души, что лишь в православной строгости и труде устоит русский дух, в сохранной обрзанности и отторжении наносного, привнесённого, переходящего... Так веками выстраивается в спасительной стуже и русское слово – то кристально прозрачное, то густое от смыслов, что медленно ходят подводными травами, глубинными нитями древней памяти. Под озёрным стеклом... Рядом... Почти под ногами...

Полная версия на сайте denlit.ru

(начало на стр.1)

...Не попишитель мух, не персонаж из Брзма, не шопотальщик небес, не вечный звукоплёт, – скворец в России тупа как эмблема не важно что поёт, а важно, что поёт.

Вот-вот! Уже одно то, что “поёт”, как ни тчится время лишит русского скворца его глоса, – есть чудо и торжество. Смеётся русский поэт, а дела не забывает и не страшится искреннего слова и посреди буффонного текста – по опыту русской поэзии знает – оно не потеряется, как в его “Балладе о памятнике поэту Ерёмёно на Лубянке”:

Нас не надо жалеть,
 Жалеть никого не надо –
 дикарей, декабристов,
 ди Каприо между льдин,
 даже мамонтов;
 но когда вымерзает стадо,
 всё же должен остаться
 в музее хотя б один.

Они знали себе цену и, смеясь, раз уж время по совету “основоположника” предпочтало прощаться с прошлым смеясь, делали своё дело честно, как в его, поздняявской “Элегии о том, что он был “последним хорошим советским поэтом”:

Я последний хороший советский поэт
 (написал в НЛО Кулаков).
 Я поскребши, осадок, подонок, послед,
 я послал из страны дураков...
 ...Я последний хороший советский балет,
 я последний троллейбус
 и звёздный билет,
 бочкотара, последний зевок.
 ...Мой последний читатель!
 Шампанским залей
 и заешь бормаше свой зевок.
 Потому что совок я по крови своей,
 и поймёт меня только совок.

Да и те, кого я цитировал в комментарии к письму об “эгоистах” и “себялюбивых трепачах”, если из контекста-то не выдёргивать, какой живой и подлинной стороной повернутся. Вон Борис Скотневский после “Всё о кей. Услеху выше крыши, лишь душа опять на самом дне” как обнимет это же время, когда придёт в сумерках одинокий час прямого взгляда на жизнь:

Пускай оно пройдёт, как дым, –
 Я счастливе временем своим...
 Поскольку в нём родные люди,
 Мой воздух и моя вода,
 Мои хоть счастье, хоть беда, –
 А больше их нигде не будет,
 Не будет больше нигде.
 И всяким – грешным и святым
 Я счастливе временем моим.

Как просто, как “бедно”, но ведь мы наедине-то с собой и не “поэты” и “себялюбивые трепачи”, а живые беззащитные люди, которые меряют жизнь не поэзией своей и других, а простым утром и днём, а они – день-то и утро и при Экзлезиасте, и при Жириновском, при

"Под бременем познания и сомнения"

Сафо и Марине Кудимовой те же. И как слушаешься открытым сердцем, так и забываешь о “соперничестве и неприязни” и сразу видишь пронзительную единичность каждого мгновения и само собою тем же Скотневским и выговорится:

Но время так отчаянно сквозит,
 Что жизнь непоправима и прекрасна.

Да и зачем непременно искать одежды “по времени” – придёт нужда наденешь и то, что Катулл нашивал и чего Херасков не стыдился,



потому что жизнь не так тороплива, как мы, грешные – иногда старое-то платье и милее, и роднее. Наденешь, и словно времени-то и нет, а стоит на дворе эта самая желанная вечность.

Я шшу нового слога,
 Как шущу новой любви.
 Но старые ритмы сильны,
 Как прежнего чувства оковы.
 И старые ритмы звучат,
 Как голос знакомый и нежный.
 И трудно не бросить взгляд
 На прошлое – пусть безнадежный.

(Елена Тахо-Годи)
 Не безнадежный он, не безнадежный, а, может, напротив, в иные времена самый надежный и есть, потому что вернее бедности удерживает сердце – форма-то ведь не только одежда, она – сердце времени.
 Нам не хватает сетчатого зрения стрекзод, чтобы увидеть сад поэзии “невывогорившихся” лет. Это не поэты, это мы мечемся между тре-

общим переселением народов – поэт, как пушкинский Пимен в одинокой келье “донос ужасный пишет”: “И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда”.

Мы и Его, Создателя всяческих, пытаемся приручить и сделать бизнес-проектом, но сама же поэзия и не даёт, потому что она – Его дитя и “отроки благочестивые в печи” и “Даниил во рву львином” не устанут свидетельствовать об Истине и ставить будильник на “вечность”.

Это, может быть, самая живая из ветвей нынешнего “древа познания”, ставшего “древом



жизни” – христианская поэзия. И не внешностью христианства, не прямо Божим именем, а самим дыханием, тишиной преображенного слова, простого и глубокого, как тропереписта. Разогните Станислава Минакова:

К осени человек понимает,
 как быстротечен смех,
 Как лаконично время,
 но жаловаться – кому?
 К осени человек понимает,
 может быть, паче всех,
 Что телегу тянуть с другими,
 а умирать – одному.

Или его же:

Поставь на полочку, где Осип и Никола,
 Осенний томок мой, я там стоять хочу.
 Мне около двух роны словес оковы,
 Где – колоколном течь, приколоту к лучу.
 Реченья их – речны, свечение – уютно
 Тому, Кто чин даёт журчале-словарю,
 Коль-ежли иордан жива, хотя подлёдна,
 Тогда и я, горюясь, глаголю-говорю.

Откройте его товарища Юрия Кабанкова:
 Что с нами сталося? Отчего так скоро,
 Так легкодумно лишены Твоей опоры
 не причащаемые хлебом и вином?
 Куда же мне теперь, скажи на милость!
 Как птаха зимняя, душа моя кормилась,

Доверчивая, под твоим окном.
 Морозный день стоял, как ангел, на пороге,
 Хрипели зрудью лесоозвонные дорожи,
 А сердце бедное спало – небесным сном...
 Достойна Промысла высокая забава!
 И, в страхе целеная, как сабака,
 Уста молитвою не смею утруждать,
 Но стыдно как о, Всенебесный Боже,
 Сей обреченности – когда мороз по коже, –
 На плоть мою взгляни: сплошной наждак!

Из бездны к небесам Твоим взываю:



Да прекратится мысль моя живая!
 Сие безумием прилично упреждать.

И напоследок ещё из Светланы Кековой:
 Кончается осень,
 как жизнь в разорённой стране,
 и к сердцу вплотную
 зимы подступает блокада,
 и виден загадочный всадник верхом на коне
 на фоне заката.

И всадника тень, и его боевое коня
 не Гоголь придумал,
 мечтая о юной невесте,
 но так возвращается в мир, убивая меня,
 закон воздаяния,
 страшное таинство мести.
 И всякое слово, конечно, приносит плоды,
 собой заполняя
 пространство от храма до свалки...
 А Гоголь сшивает
 стеклянное платье воды,
 поскольку жалеет поизбужду душу русалки.

Валентин КУРБАТОВ